

Сергей **В**оронин

Сергей Воронин

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ТРЕХ ТОМАХ

том
2

«СОВРЕМЕННОСТЬ»
МОСКВА
1982

Воронин С. А.

В 75 **Собрание сочинений: В 3-х т. Т. 2.— М.: Современник, 1982.— 623 с.**

Второй том собрания сочинений Сергея Воронина целиком состоит из рассказов. Доброе видение мира, проникновение в глубины человеческих характеров и умение найти там прекрасное, скрытое от равнодушного взгляда, — отличительные черты дарования С. Воронина-рассказчика. Рассказы его — это раздумья писателя, остро воспринимающего современную жизнь.

4702010200—278

В _____ **подписное**

М 106(03)—82

ББК84Р7

P2

рассказы

ИВАН КУЛИЧОК

Иван Куличок, демобилизованный по возрасту, приехал домой.

Было морозное уральское утро. Крупные звезды ярко мерцали над черными хребтами гор. Луна, окруженная дымчатым ореолом, стояла над уснувшим поселком.

Куличок дождался, пока скрылся за поворотом красный огонек последнего вагона, и свернул с железнодорожного полотна на дорогу, к леспромхозу.

Когда молодые солдаты мечтали о возвращении домой, о радости свидания с женой, Иван Куличок, слушая их, улыбался, но не говорил ни слова. Встреча с женой не вызывала у него особенной радости. Прелесть возвращения для него была не в этом. Его радовали дом, хозяйство, отдых, переполох, какой поднимется среди соседей, когда он придет домой, шумная застольная встреча, бесконечные расспросы — где бывал, что видал? Но больше всего порадовала бы широкая быстрая Косьва. Он как наяву видел: лунная ночь, на носу лодки пылает береста, он стоит, сжимая в руке острогу, и зорко вглядывается, не покажется ли где спящая в зарослях тины аршинная щука.

Сколько было ругани с женой из-за рыбной ловли!

— Другие-то не в пример тебе — кто председатель, кто бригадир в колхозе, а ты все как дите... — говорила жена. — Срам на тебя смотреть.

— Ты, Прасковья, зря болтаешь, потому как одно другому не помеха. В колхозе я не хуже других.

— Ишь ты, — презрительно усмехалась жена, — рабочийчек...

Куличок шел вдоль забора, по узкой колее электровоза. Снег, выпавший недавно, не успел слежаться, и сапоги ежеминутно застревали между шпалами. Это раздражало Ивана, как раздражал и неотвязно тянувшийся вдоль всего пути забор, как раздражала и узкоколейка, не выпускавшая его из своей полосы, потому что по обеим сторонам от нее лежали канавы и идти там было еще труднее.

— У, черт! — вполголоса выругался; споткнувшись, Иван Куличок и, подумав о жене, выругался еще раз: — У, черт!

За четыре года войны он научился уважать себя. Уже то обстоятельство, что он имел две медали «За отвагу», наполняло его гордостью.

«Какое она может обо мне понятие иметь, если дальше дома носа не казала, ешьте-заешьте! — рассуждал он сам с собой. — Нет, брат, я такое повидал, что теперь тебя не испугаюсь... С первого часа поведу себя повелительно».

Ему наконец надоело идти по узкоколейке, и, спрыгнув в сторону, он направился вдоль канавы. Когда Куличок остановился у ворот и, запустив руку в лазейку, отодвинул щеколду, настроение у него было боевое.

Во дворе все было по-прежнему, на своих местах. Всюду лежал снег: и на земле, и на рябине со скворечником, и на перилах крыльца. Так же чернела навозная куча, и белесый пар поднимался от нее в морозное утро. Иван Куличок решительно прошел к хлеву, потрогал тяжелый замок, прислушался. Из хлева доносилось мерное дыхание пережевывающей корм коровы.

Чем-то несказанно приятным повеяло на Куличка, но он тут же пересилил себя и стремительно поднялся на крыльцо. Постучал сначала кулаком, потом ногой. И сразу же, будто его ждали, скрипнула дверь и в сенях раздался голос жены:

— Кого носит?

— Открывай! — тонко крикнул Куличок. — Это я!

— Никак Иван?

— Открывай, говорю. Должна по голосу знать.

— Ах ты батюшки, — засуетилась Прасковья. — Уж и не чаяла...

Она раскрыла обе половинки двери и появилась на пороге — в валенках, в коротком, накинутом на плечи полужубке, простоволосая:

— Ива-ан!

Куличок стоял неподвижно. Чуть откинув голову, он всматривался в блевшее лицо жены. Ему была приятна та радость, с которой встречала его жена, но он сдерживал себя.

— Да входи, чего ты стоишь-то! — Прасковья протянула обе руки. Иван сунул ей вещевой мешок и боком прошел в избу.

— Вздуй огонь!

— Да дай хоть поздороваться-то...

Прасковья обхватила его голову, припала к нему, заплакала. Опять что-то теплое и приятное охватило Ивана: «Ишь, плачет, рада, стало быть...»

— Ну, будет.— И отстранился.

Прасковья утерла глаза тыльной стороной ладони и, вздохнув, направилась к печке.

Иван сбросил шинель, закинув ногу за ногу, закурил. Он смотрел на хлопотавшую возле печки жену. Розовое пламя ложилось отсветом на ее лицо. Он снова видел плотно поджатые губы. Могуче шевелились покатые плечи. Теплота, появившаяся было в груди Куличка, исчезла.

Вспомнилось, как его отец, маленький и остролицый, приехал однажды из Соликамска и, взяв Ивана, тогда еще молодого парня, за плечо, торжественно сказал, подражая священнику из Верхней Губахи:

— Сын мой! Приискал я тебе нареченную. Кротка и послушна, аки агница...— Он помолчал, подыскивая церковные слова, но не нашел и закончил просто: — На всю жизнь хватит!

Неделю спустя Иван, узкоплечий и маленький, похожий на подростка, стоял в церкви в длиннополом черном пиджаке, гладко причесанный на прямой пробор, рядом с крупной, пышнотелой, на целую голову выше, Прасковьей. Ему было стыдно — он слышал за спиной обидные смешки и совсем расстроился, увидав широкую улыбку дьякона. В эту минуту Куличок дал себе слово избить Прасковью. И на свадьбе, захмелевший, он вдруг вскочил со скамьи, ударил каблуками, взмахнул рукой и качнулся в сторону невесты. Прасковья только чуть-чуть подняла брови — густые, черные, словно намазанные углем,— и, легко перехватив руку мужа, несильно потянула его к себе.

Куличок упал ей на грудь.

— Не озоруй,— тихо сказала она,— ишь ты!

Гости засмеялись, загалдели и стали кричать «горько». Прасковья отняла от своей груди голову Ивана и деловито поцеловала его в губы.

И так повелось. Что бы ни захотел сделать Иван, Прасковья всегда делала по-своему. Она никогда не ругалась, а спокойно говорила: «Ишь ты...» Если он был пьян, насильно раздевала его, укладывала спать.

Иван Куличок порывисто вскочил с лавки и, смяв ногой сигарку, подошел к жене.

Прасковья медленно повернула голову от печи, внимательно посмотрела на мужа:

— Устал, поди.— И улыбнулась.

— Молчок! — тонко выкрикнул Иван. Он круто повернулся и отошел к окну.

Прасковья опять вздохнула.

Закипел самовар. На столе появилась бутылка и нарезанная тонкими ломтиками редька, круто посыпанная солью. Иван оживился. Это была его любимая закуска. Налив в стаканы водку, он чокнулся с женой.

— Потому как я вернулся живым, буду гулять, отдых иметь.

— Со свиданием, значит, — кротко ответила Прасковья.

Глаза ее светились улыбкой, но губы вдруг дрогнули. Поставив стакан обратно на стол, Прасковья опустила голову.

— Не порть встречу! — тонко вскрикнул Иван. — Будем живы! — И залпом выпил водку. — Сказал, буду гулять. Точка!

— Да господи, я разве что говорю? Гуляй.

— То-то...

Он съел кусок редьки. С удовольствием заметив, что Прасковья послушна, решил: если впредь не давать ей послабления, жизнь, пожалуй, будет хороша.

— Сергей Савельев жив?

— А как же, вспоминал тебя, бригадиром, говорит, буду назначать Ивана Васильевича — тебя то есть.

— Хм... А Петр Силантьев?

— На ноги жалится, а так ничего. В нынешнем году много рыбы поймал.

— Ладно. Свижусь. Посплю и свижусь с ним. Баньку сготовь. Слышь? Баньку спроворь без промедленья!

Лежа в постели, Иван Куличок еще раз подумал, как это он ловко укротил жену, и задумался: уж не слишком ли круто с ней обошелся? В конце концов Прасковья — молодец баба: хозяйство в порядке, в избе чисто, приветливая стала.

А Прасковья, убрав со стола посуду, подседа к мужу и неожиданно погладила его по голове.

Потом она внимательно посмотрела ему в глаза и опять заплакала. Плача, стала рассказывать, как ей было тяжело жить одной, как она по целым ночам не спала.

— Ведь ты один у меня. Что я без тебя-то? Ох, как боялась, а ну принесут... похоронную. — Прасковья всхлинула. — Самый ты сердешный мне...

Она говорила негромко, все глядя мужа по голове, и чем больше говорила, тем больше себя чувствовал Иван в чем-то виноватым перед ней.

— Ты того... брось, — все еще продолжая бороться с со-

бой, сказал он, но голос прозвучал мягко, и жена почувствовала в нем ласку.

— Желанный ты мой, родимый!

Она его называла ласково, как никогда в жизни не называла. Ивану стало жалко ее.

Он представил, как вставала она чуть свет и ложилась затемно с одной мыслью — о нем, как ждала его...

— Ах, ешьте-заешьте! — вконец растроганный, воскликнул Куличок и, обняв голову жены, прижал ее к своей щеке. И ему стало досадно на себя. Разве так надо было встретиться?! Да хоть бы расцеловаться-то с ней по-хорошему! Ах ты!.. Он даже прослезился.

А за окном уже начинался ясный, морозный день, когда снег становится розовым и дым из труб поднимается прямо к небу.

1946

МАТЬ

1

В Ленинграде Василий Митрохин пересел в пригородный поезд. В отличие от всех поездов, в которых ему пришлось ехать с Дальнего Востока, в этом было непривычно пусто. И хоть стоял уже декабрь — вагон почему-то не отапливался.

Василий ехал к матери.

Вначале, как только он узнал из телеграммы, что мать тяжело больна, он сильно встревожился, но в пути тревога улеглась, ему хотелось только поскорей добраться до дому и впервые после пятнадцатидневного мотания в поездах уснуть и спать долго и спокойно, а главное — не тревожиться за чемодан.

В чемодане он вез матери подарок: меховые чулки и расшитые эвенкийским рисунком торбаса ¹, вез еще несколько килограммов свежепросоленной семги, завернутой в олений пузырь, и свой новый костюм, в котором хотел показаться в деревне. Он надеялся, что мать к его приезду выздоровеет и ей будет приятно видеть сына хорошо одетым.

Василий живо представил себе, как набьются в избу

¹ Торбаса — меховая обувь.

соседи, как они будут удивляться, что вот он, тот самый Васька, который не побоялся уехать на Дальний Восток, сидит теперь солидный, в хорошем костюме и неторопливо рассказывает, как работает механиком на электростанции, живет на берегу Амура, в каменном доме, и что приехал он, чтобы увезти к себе мать. С матерью он не видался восемь лет. Кроме Василия, у нее никого не было. «Еще согласится ли?» — подумал он и решил: «Должна согласиться, чего ей одной жить. Будет вместе с Наташей растить Вовку». Вспоминая о том, что мать — председатель колхоза, Василий невольно улыбался. Он никак не мог всерьез представить ее, тихую и незаметную, в такой должности.

Подъезжая совсем поздним вечером к полустанку, Василий вышел на площадку. В разбитое дверное окно дул ветер, наметая в тамбур мелкий колючий снег, лязгали продрогшие буфера. Мелькнул знакомый лес, шлагбаум, и, не дожидаясь, пока остановится поезд, Василий спрыгнул на ходу.

До деревни было не больше километра. Но дорога, занесенная снегом, еле проступала, и шагать по ней было трудно. Пустые и мертвые лежали по обе стороны дороги синие поля. Впервые Василий почувствовал себя как-то одиноко в их тишине. И все: и поля, и далекий застывший лес, и небо с тусклыми звездами — показалось ему мрачным, глухим.

Деревня надвигалась темным пятном. Подойдя ближе, он увидел всего пять-шесть изб с нахохлившимися крышами, несколько срубов да бугры, похожие на овощехранилища с выведенными наружу трубами. Василий даже усомнился — та ли это деревня, в которой он родился и вырос? Ему еще с детства крепко врезались в память добротные дома с палисадниками, с деревьями вдоль улиц. Теперь ничего этого не было.

Какое-то сковывающее душу запустение ощущалось в разбитой, сожженной деревне. И хотя мать писала ему, что много домов сгорело, все же он никогда не думал, живя на тихом берегу светлого Амура, что вот так может быть в действительности. Он не сразу нашел свой дом, а когда узнал — сердце сжалось болью.

«Куда же березы-то делись?» — растерянно подумал Василий, вспомнив, что перед избой росли два веселых кудрявых дерева. И сразу же забыл о них, увидев окна. Ночью они были черны, словно речные проруби.

«Спит», — волнуясь, подумал он, торопливо выпростал из варежки руку и постучал в стекло. В окне показалось чье-то

лицо, посмотревшее на него словно из воды. Он не узнал, кто это, и все же негромко позвал.

Лицо исчезло. Путаясь в тяжелых полах мехового пальто, Митрохин пробежал по утопанной тропе к резному крыльцу, поднялся по белым ступеням, наискось обрезанным тенью крыши, и остановился перед невысокой дверью, уже зная, что вот сейчас выйдет мать, припадет к его груди, заплачет...

В сенях встревоженно закудахтали сонные куры, простонала половица, взвизгнула задвижка, и на пороге показалась женщина. Он узнал ее сразу. Это была соседка — тетя Дуня.

— Васенька, — теплым, дрогнувшим голосом произнесла она.

Он протянул руку.

— Что ты, что ты, — втягивая его за рукав в сени, испуганно произнесла тетка, — кто ж через порог-то здороваешься! Переступи.

Он переступил. И почему-то тревожась, негромко спросил:

— А где же мама?

Тетка Дуня не ответила.

2

В избе было тепло, пахло квашеной капустой. Тетка Дуня металась в темноте, видимо отыскивая спички. Сверху доносился дружный, в несколько тонов, залиvistый храп.

Наконец застучал коробок и зажглась, выпустив к потолку черную нить, коптилка. Из углов и от стен выползли голый неприбранный стол, раскрытая постель, громадная печь.

«Плохо живет», — проникаясь жалостью к матери, подумал Василий и оглянулся, ища ее.

Тетка Дуня неожиданно всхлипнула. Она стояла в разбитых валенках, с накинутым на плечи одеялом, прижимая его концы к впалой груди. Василий растерянно посмотрел на нее; еще не зная, почему она плачет, почувствовал, что в доме что-то неладно. Не желая верить плохому, вскочил на скамейку, заглянул на печь. Там, прижавшись один к другому, крепко спали черноголовые ребяташки, и, хотя было темно, понял — матери здесь нет.

— А где же мама? — еще тише спросил он.

Тетка Дуня заплакала громче.

— Да что случилось-то? — срывающимся голосом сказал Василий и посмотрел на дверь, словно надеясь, что вот

дверь сейчас откроется и войдет мать. Но дверь не открывалась, а тетка Дуня, то сморкаясь в застиранное полотенце, то утирая им слезы, рассказывала со всеми подробностями, как Степановна заболела, попив во время обмолота ледяной водицы, как она тосковала и все ждала сына и как недавно ночью незаметно умерла.

Чем больше тетка рассказывала, тем сильнее разрасталась боль в груди Василия. Уж слишком свыкся он за последние дни с мыслью, что мать выздоровеет и что он непременно увезет ее с собой. Ссутулясь, он тупо смотрел на неровный пол, думая только об одном: как могло случиться, что вот он ехал к матери, а ее нет, а он сидит в избе, где она всего еще несколько дней назад жила, ждала его.

Василий вспомнил те долгие месяцы, когда не получал от нее писем, и думал, читая сводки газеты, что мать, наверно, погибла. Как только согноли немцев с ленинградской земли, он сразу же послал телеграмму, мало надеясь на ответ. Но ответ пришел. Как обрадовался тогда Василий! Целый вечер рассказывал он Вовке, какая хорошая у него бабушка, какая она маленькая и добрая. А на другой день отправил ей деньги. Потом отправлял еще, но однажды мать написала, чтобы денег он не слал: колхоз оправился, и жить стало легче. В конце письма она звала его к себе, писала, что сильно соскучилась и хотела бы посмотреть на внучка. Василий обещал приехать в отпуск, но собрался только через два года. И вот он приехал, а матери — нет.

Словно сквозь глухую стену доносился до него голос тетки Дуни:

— От этого и здоровья она лишилась...

— От чего от этого? — испуганно спросил Василий и посмотрел на тетку. Она поняла, что он не слушал ее, и снова начала рассказывать о том, как Степановна протопила с угаром избу и как фашисты ее за это избили.

— Может, через слезы людские она такая решительная стала, — тягуче говорила тетка Дуня. — И то сказать, нелегко было снести все мучения от фашистов... Да ты, викак, не слушаешь? — посмотрев сбоку на лицо Василия, участливо спросила она.

— Слушаю, — тоскливо отозвался он, но, слушая, вспоминал, как однажды — это было в детстве в какой-то праздник — мать принесла ему в постель дымящийся пирог и он, обжигаясь, вытаскивал кисло-сладкие кусочки яблок и болтал ногами. Мать сидела на краю постели, смотря на него светлыми глазами, потом стала тормошить, целовать, а он все боялся, как бы пирог не выпал из рук...

— ...И не хотела тебя расстраивать, — опять донесся, словно издалека, голос тетки Дуни, — все ждала тебя; думала — приедешь, сам все наше горькое житье увидишь, а ей уж и тогда не могло быть.

Василий растерянно посмотрел на женщину:

— Так ведь, тетя Дуня...

— Не бережете вы матерей-то... Нет, не бережете. Вот и мой старшой уехал в город, а что мне от его помощи, жил бы со мной, все легче было бы.

И опять голос тети Дуни стал удаляться, а затем и вовсе затих. И снова нахлынули воспоминания.

...Как-то зимой прибежал он из школы с помороженными руками. В доме шло веселье. Мать, приодетая, красивая, сидела рядом с отцом и пела высоким голосом. Гости вторили ей. Маленький, запорошенный снегом, он остановился в дверях и, злыми глазами глядя на мать, заголосил, встряхивая руками. На него зашикала какая-то старуха, а отец крикнул: «Суй в воду!»

Но мать вышла из-за стола, долго оттирала его пальцы снегом, а он плакал и кричал, что ему больно, и отталкивал ее. От матери пахло вином.

— Ах ты какой! Разве так можно, я ведь мать тебе...

— А зачем пьяная?

— Вот глупый, так ведь гости... Да я и не пьяная.

Он видел, что она не пьяная, но от боли злился.

— Пьяная ты, — и ударил ее по руке.

— Экий ты, ну и выпила маленько, так ведь гости...

— Ну и иди к ним!

— Да разве я уйду от тебя! — И, прижав к себе, стала говорить что-то ласковое, приветное. Так они и сидели за печкой, а рядом шло веселье...

— Ты если спать-то надумаешь, — приблизился голос, — так ложись на постель, а я схожу на скотный двор.

После этого ничто уже не мешало Василию думать. Копилка чадила, огонек тускнел, потом, неожиданно мигнув, погас. И почти сразу же на стол легла бледная рама лунного окна, а тень от стола протянулась через весь пол к печке. «Отдай санки, отдай!» — донесся с печи громкий мальчишеский голос. И опять наступила тишина, полная легких, как тени, ночных шорохов. И за окнами была тишина, но не такая, как в избе, а просторная, раскинувшаяся на морозных полях, на голубой дороге, возле темных, застывших в белом воздухе домов...

Василий смотрел на этот уснувший мир, и ему представилось деревенское кладбище, с редкими деревьями,

и среди всего этого сиротливо прикорнувший маленький холмик с березовым крестом.

Пришла тетка Дуня. Скинула с себя захладававший полушубок и, не заметив Василия, сидевшего на лавке в простенке между окон, полезла на печку. По избе проплыл шепот: «Ну-ка, двинься, двинься чуток...»

3

Когда тетка Дуня проснулась, Василий все еще сидел на лавке.

— Ой, да ты и не ложился! — воскликнула она и, вытерев губы двумя пальцами, с краев к середине, глубоко вздохнула: — Я вот тоже, Васенька, когда похоронную получила, думала, свету конец. Шибко любила я своего Тимофея... Так замертво и повалилась: мутная стала. Все хожу да думаю. И света не вижу. Спасибо твоей матери, век мне не забыть ее слов: «Крепись, говорит, Дунюшка, ради деток крепись. Тимофей-то, смерть принимая, заказывал жить нам всем долго. Не занапрасно погиб он, и ты не должна рук опускать, особенно теперь, когда мы на своей земле живем». Помню, всю-то ночь проговорили мы с ней. И про отца твоего вспомнили, про тебя, и поплакали мы с ней, и погоревали. Вот тогда-то она всех вдовых баб, которые были с ребятишками, бездомных, в свой дом пустила. И веришь ли, полегче нам стало вместе-то:..

Когда рассвело и появился на столе большой чугунок с картошкой, отпотевшая крынка молока и фыркающий пузатый самовар, с печи спустились ребята и сразу о чем-то заспорили. Но заметив незнакомого человека, замолчали и хмуро стали умываться над бочкой из железного рукомойника. И позднее, уже за столом, розовые от холодной воды, с любопытством поглядывали на Василия. Василий выложил на стол пакет с семгой, сахаром и брусок сливочного масла. Но тетка Дуня деловито сунула масло обратно в чемодан, сказав: «И свое есть. Незачем. А за рыбку красную спасибо».

Против Василия сидел самый маленький из семьи, большеглазый мальчуган.

— А пошто она красная? — спросил он.

— Потому красная, что лучшая, — ответила тетка.

— Не потому... Она, наверно, в красной воде живет. — И, взглянув на ребят, фыкнул.

— А ты не балуй, — кроша зеленый лук в миску, улыба-

нулась тетка. И, видя, что Василий по-прежнему задумчив, сказала:

— Отведай-ка, Васенька, нашего зимнего лучку.

— Зимнего? — слабо удивился Василий.

— Тут, видишь, дело такое вышло, — оживилась тетка, — дошел до нас слух, что в Ленинграде раненые бойцы очень в зелени нуждаются, цингой страдают. Вот твоя мать собрала всех баб, а у нас в деревне-то никого, кроме баб, и не было, да и говорит: лук надо растить. А зима стоит лютая, вокруг немцы. До того ли, думается. Но только Степановна так сказала: «А что, говорит, бабы, если там наши мужья али сыны лежат. Тогда как?» И начали мы растить лук в корытах да в ящиках по избам. Много мы его отправили через партизанов. Вот с тех пор у нас и в привычку вошло — зимой лук растить...

— Да-а... — неопределенно промолвил Василий, думая о своем, и, посмотрев на большеглазого Павлушку, спросил: — Сколько же у тебя, тетя Дуня, ребят?

— Теперь четверо, — разливая по чашкам чай, ответила она. — Козырева-то Михаила помнишь? Так вот, этот — евонный, — она кивнула на Павлушу. — Отца-то на фронте убили, а матку фашист пристрелил, она, вишь, вечером за околицу вышла... Ой и горя же мы хва́тили! — горестно вздохнула тетка Дуня и приложила платок к глазам. — Ну вот и остался один Павлуша. Сначала матка твоя взяла его, а теперь он у меня.

На кладбище Василий пошел с Павлушей. Начинался морозный день, а в небе все еще висела, словно вымерзшая за ночь, прозрачная луна. Павлуша шел впереди Василия, глубоко запустив руки в карманы полушубка. Он вертел головой, то разглядывая летящих сорок с качающимися хвостами, то выскакивавших на улицу в одних платьях баб с гремящими ведрами.

Темные бугры, принятые ночью Василием за овощехранилища, оказались землянками. Чуть подалее стояли срубы и недостроенные избы. Около них ходили с топорами колхозники. Всюду валялись бревна, доски. В стороне от дороги виднелся большой новый дом с палисадником и резным крыльцом. В палисаднике Василий заметил березки, очень похожие на те, которые когда-то росли у его дома.

— Чей же этот дом? — спросил Василий у Павлуши.

— А ребята в нем живут, с мамками, у которых отцов нет...

Уже выходя из деревни, Василий увидел новый скотный

двор. Глядя на толстые бревна, подумал, как тяжело было их поднимать... И почему-то вспомнился последний день, когда он видел мать.

Окончив техникум, Василий уезжал на Дальний Восток. Он сам вызвался туда ехать и хвастливо говорил об этом провожающим его друзьям. А мать стояла в стороне у его вещей. Когда подошел поезд, Василий наскоро поцеловал мать, она хотела сказать ему что-то, но друзья оттеснили ее, потом он лихо вскочил на подножку вагона. Поезд пошел, все что-то кричали, кричал и Василий. И вдруг увидал мать: она бежала по перрону, махая платочком. Поезд набирал ход, она отстала, шла уже шагом, и долго еще была видна ее маленькая одинокая фигурка. Такой маленькой и одинокой она и запомнилась ему на все восемь лет... И сейчас, глядя на эти тяжелые бревна, он никак не мог представить себе мать, поднимающую их. «Может, она через слезы людские такая стала», — всплыли в памяти слова тетки Дуни. И странное состояние охватило Василия: словно были у него две матери; одну он знал очень хорошо, — это та, прежняя, с платочком на перроне... другая была незнакомо-новая, которая не побоялась фашистов, строила новые дома... которую слушали люди.

Василий миновал околицу, перешел через деревянный мост, окруженный остроугольными надолбами, свернул к кладбищу. Там он стал искать новый березовый крест; ему хотелось самому узнать могилу матери. Но он видел только старые, покосившиеся кресты и несколько красных пирамидок со звездочками наверху. Павлуша остановился перед одной из них с висевшим на гвозде свежим хвойным венком.

Василий медленно снял шапку. «Кто это сказал, что у нее на могиле березовый крест?» — подумал он и тут же догадался: это никто не говорил, это он сам так подумал...

— На машине приезжали, из района, — вздохнув, сказал Павлуша.

Василий, внимательно вслушиваясь, взглянул на него, одетого в большой полушубок, и почему-то вспомнил о своем костюме, о том, как мечтал показаться в нем колхозникам, представлял себе, как они будут удивляться.

«Это кто же будет удивляться?» — чуть ли не вслух сказал он, и горячая кровь хлынула ему в лицо. В сознании мелькнули земляки, тетка Дуня, зеленый лук в корытах... Он посмотрел на пирамидку со свежим венком и совсем как когда-то, в детстве, когда, провинившись, бежал к матери

и, уткнувшись в ее платье, замирал, — упал на колени, прижался щекой к зеленой морозной хвое.

Павлуша постоял несколько минут безмолвно, глядя на широкую спину Василия, и, жалея его, тихонько сказал:

— Дяденька, не надо... Не надо, дяденька...

1946

СТАРОЕ КРЕСЛО

Очень было неприятно Марии Павловне, когда она узнала, что райжилуправление отобрало у нее комнату. Это верно, у Марии Павловны был порядочный излишек жилплощади, и верно, что одинокому человеку в ее возрасте достаточно и одной комнаты, в то время как многие люди совсем лишены крова, но привычка есть привычка. В этой квартире каждая вещь дорога, напоминает мужа, сына, невестку.

Поэтому, когда Павел Хромичев пришел в квартиру с ордером, Мария Павловна уже на правах квартуполномоченной внимательно прочитала квадратную бумажку и, убедившись, что на ней стоят подписи и круглая печать и что это и есть настоящий ордер, жестом гордого самоотречения указала горбатым пальцем на дверь уже не принадлежавшей ей комнаты. Оглядев с головы до ног нового жильца, пренебрежительно отметила его мятую шинель, запыленные кирзовые сапоги, фыркнула и, подняв голову, проплыла мимо, подчеркивая этим полное нерасположение к нему и унося в сердце тяжелую досаду.

Павел Хромичев вошел в комнату и удивленно свистнул. Он никак не предполагал, что пятнадцатиметровая комната может быть такой просторной. Видимо, такое же удивление вызвал он и у комнаты своим появлением. По крайней мере, ему показалось, что высокие окна будто вздернули вверх коричневые карнизы, и это было похоже на движение бровей. Он даже подошел ближе и внимательно посмотрел на них.

Тонкая золотая вязь лежала на коричневом фоне. В ее затейливой росписи было что-то настолько искусное, что он сразу же подумал о мастере, проникаясь к нему уважением. Привычно достав блокнот, он еще раз пристально всмот-